



поэтическая
серия

Александр Ожиганов

Утро в полях

Девятая книга



Самара 2012

УДК 821.161.1
БК 84(2Рос=Рус)6-5
О-45

ОЖИГАНОВ Александр

О-45 **Утро в полях.** Девятая книга. –
Самара, 2012 – 80 с.

**Совместный проект литературно-художественного
и аналитического портала «Цирк Олимп+ТВ»
и Самарского Литературного Музея**

Редакция серии:

Сергей Лейбград
Виталий Лехциер
Ирина Саморукова
Ирина Тартаковская

Редакционный совет серии:

Лев Рубинштейн (Москва)
Владимир Друк (Нью-Йорк)
Ежи Чех (Познань)
Владимир Тучков (Москва)
Николай Байтов (Москва)
Света Литвак (Москва)
Александр Макаров-Кротков (Москва)
Илья Кукулин (Москва)
Татьяна Риздвенко (Москва)

Куратор серии:

Виталий Лехциер

ISBN-978-5-91940-412-5

© Цирк Олимп+ТВ, 2012

**Александр Ожиганов –
поэт неволей божьей**

Что бормочет этот лопухий старик, этот застенчивый мальчик? Этот вечный русский человек, этот древнегреческий эллин, этот ветхозаветный иудей? Этот глухой красноречивый диктор? Этот упрямый очкарик Гамлет?..

Почему он решает – быть или не быть? Существовать или не существовать? Есть он или нет? Есть ли я или нет? А он решает, решает. И не может решить. И не может решиться. Есть он или нет. Быть или не быть. Слово или звук. Тело или дух. Страна или война. Любовь или культура. Шум или глухота. Немота или речь. Знак или указатель. Свидание или разлука...

Почему он возомнил себя единственным наследником культуры? Литературной речи? Письма и языка? Не мнил, не мнил. И всё равно возомнил. Или он литературное животное, которое просто биологически существовать иначе не может?..

Из какого окружения он вышел? Этот осиротевший мой родственник, этот абсолютно чужой мне человек, который помнит нечто такое, что я уже никогда не смогу придумать...

Почему он мне кажется похожим на Варлама Шаламова? Почему его полный антипод Всеволод Некрасов мерещится мне его сводным братом? С чего это я усматриваю в нём генетическое сходство с Михаилом Айзенбергом?..

Я, наверное, не имею право это писать. Но когда я впервые увидел его, на двадцать лет старше меня, на пороге утлой, прямоугольной, пропахшей пылью, табачным дымом и штукатуркой комнатёнке вестника современного искусства «Цирк «Олимп» в старом корпусе самарского авиационного института – я вздрогнул. На долю секунды судорога стеганула, до боли стянула моё сознание. Я увидел напротив себя своего двойника. Помните, «Отчаяние» Набокова. Навероятно не похожий на меня автор и человек показался мне точной копией моего отчаяния. Совершенно с другим опы-

том, внешностью, языком, образованием, телесной и тактильной «обожженностью», но из той же точки небытия...

Судорога быстро прошла. И разница, несоответствие, несвязанность смягчили напряжение от встречи. Смягчили, немного смягчили...

Он пришёл. Ему, конечно, сказали, что есть такой я и такой «Цирк «Олимп». Просто неофициальное литературно-художественное издание, в котором он мог бы печататься. Но ведь он пришёл. Он вышел. Нет не из подполья. Он ни от кого не прятался. Вышел из невидимости. Из тотального – пронизанного внутренними диалогами, спорами и проклятиями – одиночества. Да нет, ни из какого не одиночества. Я не знаю сколько десятков или тысяч голосов не давали ему спать, не позволяли ему уйти, выйти, освободиться. Вот-вот, он пришёл в редакцию «Цирка Олимпа», как освободившийся из мест заключения. Из места самозаключения...

Он двадцать лет жил в Куйбышеве-Самаре, не живя здесь. Жил ли он вообще где-нибудь? И ведь он не скрывался, но как будто скрывался всё время в кочегарке, в семье, внутри. В быту, отрицающем бытие, а тем более событие. И это человек в полном смысле культуры, последний выживший в разрушенном Риме. Беженец, беглец. Античный кочевник. Самый точный сын, не пасынок, а сын XX века. Вот именно так двумя перечеркнутыми римскими крестами и можно обозначить этот век. Стихотворец, теряющий последний смысл своего существования, то есть теряющий значения и звучания слов, из которых он составлен. И больше уже почти нет ничего. Только слова, значения и звучания, изгнанные из контекста...

«В поисках связующего звука» – так, по одной из моих строчек, назвал он статью, посвященную моим стихам. Он, в отличие от меня, этот связующий звук обрёл ещё до осознания себя поэтом. Вот только никто и ничто на звук связующий не реагировали, не откликнулись...

Ах, с какой страстью он принялся бороться в «Цирке «Олимп» с постмодернизмом. Как он замечательно и наивно спорил с Ириной Саморуковой, Александром Улановым, Виталием Лехциером. С детской страстью и с детским удоволь-

ствием. Он, чья биография – абсолютный постмодернизм. А иначе как можно было всё это пережить и выговорить? Рождение в оккупационной Одессе, память-сон о бывшем и несуществующем никогда отце, Бендеры, молдавские детские дома, неистовую привязанность к фантастической сестре, которую он сам называл «духовным отцом»? И всё это на фоне полуразрушенной, приспособленной для послевоенной жизни дореволюционной еще культуры, поэзии, театра. И всё это на фоне неумняемого глухого советского садизма, которым жили, говорили и трогали его «простые советские люди». И непростые тоже. И два незаконченных университета. В Кишинёве и Ленинграде. И полуподпольный Ленинград...

Стихи Ожиганова я впервые прочитал в конце восьмидесятых. И для меня он был одним из неофициальных питерских поэтов поколения Кривулина, Стратановского, Шварц. Причём, казалось, что он был среди них старшим. Его речевая интенция при всей психологической обнаженности казалась насмерть привязанной к стиховой культуре позднего Серебряного века. К тому самому моменту, о котором писал сын Иннокентия Анненского. Времени, когда жизни нет, и стихи и есть последнее, что можно назвать жизнью...

Сухой, глухой, как будто даже обиженный на всё и на всех человек в старомодных очках и затрапезном сиренево-бурмалиновом полувере и чёрных рабочих брючках вдруг преобразился. В его мёртвых, умирающих, задыхающихся, упрямых, монотонно неотвратимых стихах и интонациях жило ощущение красоты. И сам он освещался изнутри отнюдь не «адовым пламенем», а детским благодарным светом. И становился еще красивее, чем его гулькие, страшные и удивительно честные тексты.

Бесчувственное словосочетание «влага искусства» перестало быть выпендренно безобразным, когда в пересохшие уши мои хлынула древнегреческая и потаённо советская, безнадёжная, безупречная энергия его стихов. В этом маленьком большом человеке жалкое было живым. Смерть находилась не внутри него, а снаружи. Но отражения своей жизни (подтверждения, обозначения, связи), жизни подлинной, не

дежурно бытовой и даже не литературной – он не находил. И почти не искал. Сигналы и импульсы уходили в пустоту. И вдруг наткнулись на случайный метеорит, возникший на самарской орбите под диким именем «Цирк Олимп».

Я не считал его, замечательного, глубокого мастера безусловно крупным, точнее актуальным поэтом. Не считал. А зачем так считать? У него есть, и мне это сейчас совсем очевидно, не только осязаемая цельность, но и просто (опять это «просто» в дискурсивной паутине восприятия) гениальные стихи.

Мы не виделись почти тринадцать лет. Моё почтение к нему переросло в предпочтение. Не отказываясь от своего архаического, а затем полуварварского существования с латинской медью на устах, он совсем другим, единственным своим маршрутом шёл, двигался, полз к линии вочеловечивания русского стиха. Где обязательно встретится и с Некрасовым Всеволодом, и с Цветковым Алексеем, и с Айзенбергом Михаилом, и с Ковалём Виктором, и, конечно, с Виктором Кривулиным. Странная компания? А жизнь-нежизнь разве менее странная?..

У меня на столе лежит семь рукописных/печатных книжек Александра Ожиганова. Уезжая из Самары в Москву, он оставил их мне в качестве единственного свидетельства, что он был. И что он был здесь. И что мы хотя бы иногда говорили на одном языке, способном вместить языки других. Живое общение, так это должно называться...

«Утро в полях» – третья «официальная» книга поэта. И выходит она в Самаре. Подтверждая не столько то, что есть такой уникальный, современный и актуальный поэт Александр Ожиганов, сколько тот откровенно фантастический факт, что, оказывается, есть, есть на самом деле и город Самара.

Я намеренно не процитировал ни одной строки Ожиганова. Потому что сейчас же вместе с вами, но совершенно отдельно и одиноко стану читать его стихи, в которых слова мучительно и неотвратимо заслуживают права именоваться словами. Не потому что они уже были однажды, а потому что они будут. Потому что они ждут нас впереди...

Сергей Лейбград

☞



Слова – отдельно, где-то в словаре, в томах румынских, польских и немецких. И плесень (смысл!) блестит на коже волошских ли мозгов, орехов грецких.

От умозаключений – к одному (уже пожизненному) заключению, где ум замуровал себя в тюрьму, значение придав обозначению.

Ловушка! Неумение ума.
Не спрашивай, что значат эти знаки,
и, может быть, седая бахрама
блеснёт – бельмом на темени – во мраке.

Очнуться, выйти на зачумленном кольце.
 Жизнь отвратительна. Особенно в конце.
 С начальной грамотой утрачивая связь,
 вмерзают мамонты в аттическую грязь.
 Ещё не замерла кровь, не успела слезть
 с колоды мрамора дорическая шерсть.
 Но бивни выбиты. Сдирая алфавит,
 откроешь в глыбе ты гиперборейский стыд.
 На самом деле мы найдем летейский луг:
 Весь асфоделями зарос трамвайный круг.

К.

Пустыня или сад? В предутреннем тумане
 мерещится: шагнёшь – в снегах увязнут сны...
 «Я, может быть, ещё останусь в Ханаане».
 Но свален снеговик, а третьей нет страны.

Катанье ли в горах на саночках, иная
 забава ли, сестра, впотьмах рождает страх,
 но каждую ступень двуликого Синая
 засыпал чёрный снег, бумажный пепел, прах...

Предутренный полёт и трепет Эсмеральды
 воздушный выжгли путь воронкой в снегопад.
 И если бы я смог – во сне – дойти до Кальды,
 я спасся бы... Итак, пустыня или сад?

Е.

Где ты была? – у черта на рогах?..
за пазухой у бога?.. И поныне
ты пребываешь там. Межзвездный прах
мутит седое серебро Полыни.

Но и поныне ноет не-ребро:
нелепица писца при переводе
с немецкого на идиш. Серебро
Полыни. Столкновение в переходе
между Аидом и Шеолом. Стык
бесплотных половин инертной массы.
Праматери раздвоенный язык,
серебряный родник забытой расы.

Полынных звезд сигнальные огни,
Гортани карстовой регистровые тени.
И Лета леденит уже ступни,
Лодыжки, икры, голени, колени...

Не расширяй словарь скорей избавься
от лишних слов опять перечеркни
написанное от автоматизма
освободись опять перечеркни
написанное от автоматизма
освободись минута – и стихи
свободно потекут перечеркни
написанное от автоматизма
нельзя освободиться ПОТЕКУТ

не расширяй словарь (ацтекско-русский?)
археологию разрушенных корней
и точек болевых скорей избавься
СВОБОДНО от опять перечеркни
написанное И СТИХИ короста
разрушенных корней и болевых
(ацтекских? русских?) точек ПОТЕКУТ
освободись от слов автоматизма
МИНУТА и словарь нельзя опять скорей

Прямая речь – кривое зеркало.

Слепая плоская вода
 изображение исковеркала
 и испарилась без следа.
 Осталось зеркало. Наличие
 пустот, способных отразить
 случайное косноязычие,
 почти невидимую нить
 Тезея, с девой пуповиною,
 незримо связанного. Свет
 зеркальный злобой голубиною,
 картавя, исказил ответ.

Страшись не сырости и темени,
 страшись зеркального луча,
 который проволокой времени
 изогнут в пальцах палача.

Кружная, косная, уже ничья, ничто
 уже, сужаясь, кружится исчадьем
 прошедшего: «Петров ответил, что...»,
 «Сократ сказал, что...» За семью печатя-
 ми! – разговор, перевернутый Петром,
 Платоном, кем-то... «Да, я что-то слышал
 об этом...»? Нет! – не то и не о том:
 речь, прыгнувшая бешеною крысой,
 речь косвенная, рвущая гортань
 цитирующего, ледышка, ящер,
 оттаявший во рту и изо рта
 извергнутый блевотой настоящей
 беседы, бледным бляньем во сне
 существованья, страшною догадкой,
 что косвенная речь – прямая смерть! –
 под языком растаяла облаткой.

Разговорная речь: здоров!..
Тыр-пыр-мыр... и харэ – покеда...

С кем я только не пас коров,
сатаня в таких беседах,
где бессмысленный серый мат
жировал, словно мышь в амбаре...
До сих пор я – за пятьдесят! –
молодой человек и парень,
друг, земля, Санек-Сашок,
эй-ты-там...

На простое здравствуй!
изо рта, повергая в шок,
выбегает (мышь! мышь!..) мордастый...

Ох, товарищи – граж-да-не –
господа – петьки – федыки – вани,
как же вы надоели мне! –
я запарился в общей бане
разговорного языка...

Ковш холодной и чистой речи
протяни мне издалека:
пусть остудит, спасет, излечит.

Мелькает катится скользит белесый ком,
сырая масса: био-... ноосфера...

Я – каракатица с чернильным пузырьком –
не здесь а там, покамест не осела
пыль студенистая, секреция желез,
кружочки эти черточки спирали –
стихия сырости и темноты и слез
чернильных вычурных но пролитых всерьез
не здесь а там... куда вы опоздали...

То за эфес музейной шпаги,
то за муляжный пистолет
хватаясь во сне, но нет
на выстрел и укол отваги,
врага, мгновения, чего-то
неуловимого... Забыл...

...Ты, слава богу, не убил
во сне, но грязная работа
мелькает, как рекламный ролик,
Пестрит... Один и тот же сон!
И ты пришпилен к этой роли,
Как глупо хлопнувший пистон.

Убит! К чему теперь рыдания?
Спокойной ночи. До свиданья!

... и тленья убежит

Впечатанный в молчанье, как в почтовый
коричневый сургуч, не отвечай
молчаньем: чертыхнись, чихни, готовый
очнуться... Хотя такой, хоть бестолковый,
но знак – подай:
– Я ЖИВ ЕЩЁ!

В молчание, как в жидкий
азот, запаянный, запомни: ты живой –
как мёртвый, мёртвый – как живой. Пожитки
в музее, плоть блатные под микитки
схватили, и сховался часовой.

И всё пропало, как у Ковалёва
нос или у Башмачкина шинель.
«Куда ты? – дай ответ»... В ответ ни слова.
Пропало всё. И от всего улова –
В ячейках нечисть a la naturel.

«Чёрт побери, опять литература!»
Но чур! – ушкуйник или пилигрим
авось не весь! – ведь (задубела шкура!
от Миргорода и до Чевенгура –
буквальный буквенный четвёртый чудный Рим
словесности...

Святой лукавый Гоголь,
ты не протухнешь плотскою плотвой!
Присядь на занесенный снегом цоколь,
и разотри в стакане гоголь-моголь,
и гоголем пройдишь перед Москвой!

Событие и есть событие.
 Нет, нет! – не приключение, не случай:
 СОБЫТИЕ. Особое. Сие.
 Единственное. И – так будет лучше! –
 единое. Заполнившее всё
 и вся. Смотри: пустот не остаётся.
 Его не взвесить – нет таких весов,
 не исчерпать, как воду из колодца
 работающего, на острие
 не нанизать, как радугу... И это
 событие и есть событие
 от Ветхого до Нового Завета.

Доброволен ли крест Христа?
 И цикута сладка ль Сократу?..
 Можно ль смерть разыграть с листа,
 Как бесхитростную сонату?

Я, должно быть, ещё живу,
 но на треть – посмотри! – в отбросах.
 И рукой проводя по шву,
 заставаю на тех вопросах,
 что как будто бы решены,
 но не мной! – не хватает силы...

Чем, скажи, так поражены
 две жены у пустой могилы?

Не мне, нетопырю и недотёпе,
лезть на рожон и голос рвать, что жечь.
Я ни горяч, ни холоден, а тёпел:
На градуснике – тридцать шесть и шесть.

Прости. И я не избежал кошмара
Страстей, когда поверх и сквозь меня
ходили волны холода и жара
и тьма вривалась в средостенье дня.
Как Лермонтов покоя и забвенья
хотел, гусар! – и сразу: парус... конь...

Задымленное стёклышко затмения
болезненно врезается в ладонь...

Как ярок мрак! Как яростны пророки!
Как громко говорят *на языках*
апостолы!

И как мы одиноки
С задымленными стёклами в руках.

Коснеть, скрываться, костенеть.
Не ждать ни встречи, ни разлуки.
Как филиппинский знахарь, смерть
в меня засовывает руки
по локти. Этому врачу
как не доверишься? Не трушу.
Лежу. Лечусь? или лечу?
или кашею прячу душу
за морем, в старом сундуке:
внутри яйцо, в яйце иголка...

От сказочек о дураке
не будет никакого толка.

Блаженной глупостью – увы! –
меня не наделили боги,
и я беспомощней травы,
сгибающейся вдоль дороги:
её то вымажут, то пнут,
то вырвут с корнем, подчистую,
и выбросят... Что скажешь тут?
«Я мыслю, значит, существую»?
мысль, ты, должно быть, не права! –
кто скажет, где предел страданья?

И ропщет бедная трава
вне мысли... вне существованья...

Нет жалости во мне к себе нисколько.
Пора тире заполнить интервал.

Мне поручил Господь простую рольку,
и так бездарно я её сыграл:
нес отсебятину, совою слеп в софите,
робел, глупел, топтался, в раж входил...

Прошу случайных зрителей: «Простите! –
актёришко не соразмерил сил».

Больше нет ни добра, ни зла,
ни подавленности, ни воли.
Есть всего лишь зола. Зола,
что осталась от прежней боли.
Боль вся выгорела дотла.

И ещё. Немота и речь
совершенно неразличимы.
Промолчи мы или перечь,
разом жертвы и палачи мы.
К кандалам присобачен меч.

Вообще, темнота и свет
перетерты в какой-то серый
мутный студень. И больше нет
ни сторон, ни примет, ни меры.

Лишь зола перетлевших лет...

Из детства перескакивая в смерть,
я как-то умудрился закоснеть,
впасть в детство, выпасть, обрасти рутинной,
так и не став – избави бог! – *мужчиной*.
Все детские болезни и боязни
Вдруг старческими стали на глазах...

Чем праздник отличается от казни?
И почему от смеха все в слезах?
Вопросы! – никуда от них не деться...
Устами мудреца или младенца
глаголет истина? – ещё один вопрос.
И вот – итог... Но разве я не рос?
Аттракцион *Четырехсот ударов*,
крутясь, меня выбрасывает из
младенческих и старческих кошмаров,
а пустота и значит парадиз.

И не забыть бутылку в октябре
откупорить... Дальнейшее – – (тире).

Утро
в полях

Михаилу Шемякину



1

Да, не удался этот мир Творцу,
но сетовать, Винсент, ведь не к лицу
художнику, в котором поражение
лишь обостряет внутреннее зренье,
и на холсте, что ты размалевал,
яснее проступает идеал:
мазнёт пейзаж песком, обдаст росой –
и вещь соединяется с душой.
Неряшливость? Погрешность ли? – не спорь
и новый холст распяль для новых зорь.

2

«Берёт и трубка? Что ж, бери берет
и трубку, красься, драпируйся в тоги...
Ничтожных пустыков в искусстве нет,
но нет в нём и предметов слишком строгих
для шутки, например. Не петушись.
В сектантских пароксизмах словоблудства
не дёргайся. Искусство – это жизнь.
Бессмертье – средостение искусства.
Всё изощренней пестуй простоту.
Мальчишка мяч обвёл наивным кантом.
Ты искушён. Однако за версту
от мэтра не должно разить талантом».

Итак, Гоген солгал, Винсент?
И бритвы не было при встрече
на тротуаре? Всё обман?
А что же было? Был абсент.
Абсент, бесчисленные речи
и кем-то брошенный стакан.
К тому же этот эпизод –
недельной давности, не позже.
Не накануне. Не вчера,
как Поль сказал...

Или урод
и ангел точно стали схожи
с цветными точками Сёра
со временем: одна, вторая...
И различаешь их с трудом...

Но если Арль – преддверье рая,
то что скрывает *Жёлтый дом*?

Снаружи жёлтые и белые внутри,
как жадно ожидали эти стены
здоровья, дружества и утренней зари
в полях, вдали от сутолоки, Сены,
сырых подвалов и мансард, Винсент!
Париж? Париж – раскрепощенье цвета.
но впечатленья – бабочка! Момент –
и звякнула последняя монета
о стойку...

Я читаю: «Старина!
На юге жизнь дешевле, здоровее.
Я жду вас всех. Художникам нужна
своя Япония, заветная страна
пылающего солнца и вина,
где хворости и грусть мистраль развеет...»

Винсент, есть рифма русская: *любовь –
кровь*, стёртая, как театральный задник.
На плитки красные из уха каплет кровь,
напоминая красный виноградник.

«Солнце – сеятель, смерть – жнец.
Сколько их, кругов, колец,
дуг, овалов и спиралей!
Даже от линейных далей
золотой долины Кро
в венах гулко кружит кровь.
Даже жизнь шарообразна:
отвратительна, прекрасна,
и безумна, и мудра...»

Он опять в полях с утра.

Спирали, петельки, крючки, зубцы, зигзаги,
иероглифы (детская игра!)
стенографируют напор соленой влаги,
и море мечется на плоскости бумаги,
слетая с кончика обычного пера.
Что это? – творчество? ребячество? Отгадка
проста, таинственна, темна, Винсент, ясна.
И жизнь божественна. И смертью пахнет
сладко
в полях предутренних. И треплет лихорадка.
И море мечется. И манит белизна
холста, бумаги...

Как не хотелось жить, как не жилось
здесь (в Куйбышеве, кажется?.. в Самаре?..),
где время шло, качаясь, вкривь и вкось,
как кочегар в хроническом угаре,
где шарканье дворницкой метлы
в потёмках из постели выметало...
Котлы и печи, печи и котлы
и электричество полуподвала –
на глубине гробов, где рвалась нить
сестры, в раю бетона и металла,
где не жилось, где не хотелось жить,
где воздуха и света не хватало.

Поэт – помещик, кирасир – еврей,
язычник – камергер, бирюк и комик,
не баловень Гармонии Орфей,
но пасынок немецких антиномий
и русской грусти, задыхаясь, лез
на стог, царю слал пастилу и из
последних сил
хватался за ножи («Вот чёрт!..») ... Снежило.
Мело, мело! Пел чудовский. Кадил
ключарь. И кто? – Фет эту жизнь любил?..
Шеншин?.. с такою нежностью и силой?

Кто ты такой? Глухой любитель слова
звучащего, засунутый в подвал?..
Самара не была с тобой сурова:
ты для неё и не существовал.
Ты слышишь свист насосов, скрежет, стуки
моторов, шум в ушах («Послушай-ка!..»),
какие-то – чудовищные! – звуки:
чужую речь родного языка,
мышиную возню («Итак, вниманье!»),
угрозу смерти, суету страны,
припадки страха, бабье лепетанье
и тщетные попытки тишины.

Ты слышишь: сыпется песок. Ты слышишь:
вращается Земля. Ты слышишь всё.
Но свист всё тоньше. Тон всё выше, выше
во тьме, где огненное колесо
скрипит («Послушай!..») – за порогом слуха
и за пределом разума, во тьме,
где раструб оттопыренного уха
горошину катает по кайме
небытия, горошину («Послушай-
ка...») логопеда... логоса... («Итак...»),
и, как косноязычная кликуша,
всё – слово в слово! – повторяет мрак.
Но неразборчиво («Что? – повтори»), неясно.
Свистит насос. Самара не была
С тобой сурова («Что?»). И уши праздно
торчат, как два ошипанных крыла.
Прикройте правое. Итак... *сорок четыре,*
двадцать один, шестнадцать... А теперь
прикройте левое... Как в ярмарочном тире,
стреляет в ухе для таких тетерь,
как ты. Мишень вращается. Грохочет
Галактика. Стреляя в молоко,
ты попадаешь в цель. И красный кочет
кричит. Ты слышишь? Это так легко!

Мы смотрим во тьму. Из нас
выходит дневной запас
иллюзий, затей, надежд,
как мы из своих одежд
выходим. И как сокол
сумеречный разум гол.
Во-первых и во-вторых,
в потёмках находит стих
на стих: он не виден, но
в глазах от него темно.
А третьего не дано.

И пристально, как слепой,
мы смотрим перед собой
во тьму, где незримый зрак
буравит кромешный мрак,
сигнала нам по складам
презрительно: АЗ ВОЗДАМ!
Не слышно. Не видно нам.

Тьма смотрит во тьму. Глаза
кишат, вылезая за
и из. Напрягая слух
мы слышим в потемках УХ
и АХ. Это – тише! – мы
здесь – серною пробкой тьмы –
вошли в лабиринт зимы.
Так сыро... Темно... В ушах
звенит... И круги в глазах
вращаются...

ОХ!

УХ!

АХ!

Ода

1

В казарме ли коснеть?
в Сенате ль препираться?
или Пленуру петь
под патронажем граций
германских? – Сан-Суси,
Шафгаузен, Саратов...
Солдат, пиит, сенатор,
мурза ли – на Руси?

2

Мовтерпий, жизнь – мираж.
Я – некий Ich у Фихте.
От всех Пленир, Параш –
лишь Vermischte Gedichte.
Чушь, вирши, вермишель
под соусом французским.
Льзя ль по рецептам прусским
варить родной кисель?

3

Что ж, Даша, дай вина
Для радостей заветных!
Есть два Державина:
пресвитер и советник.
Не в силах *кто есть кто* –
кто подлинник? кто список?
без красоуль и мисок
расследовать никто.

Кто мудр, а кто простак?
Кто лебедь, кто нелепо
гогочущий гусак? –
не угадаешь слепо,
тем паче – натошак!

4

Дерзнул я наконец
в забавном русском слогe –
простак или мудрец? –
беседовать о Боге.
И весь я не умру,
покамест во вселенной
есть место комару
и кружке с пышной пеной!

Рассохлась старая каруца,
пропал под оползнями путь.

Надежда больше не проснуться
поможет, может быть, уснуть.
И, может быть, опять приснится
белеющая среди стволов
та церковь без колоколов,
в которой не перекреститься...

Богат ли, Боже, Твой улов?

Срывать колосья – не работа.
И птицы зерна расклюют.
Я сплю. Соблюдена суббота.

А воскресенья здесь не ждут.

Есть действительность. И непреложность
доказательств. Но – странная вещь! –
сложность сложности проще, чем сложность
простоты. И логический клещ
всё не в силах вцепиться, вонзиться...

Мысль истаивает на лету.

И застывший на месте возница
гонит перед собой пустоту.
Красным воском залеплены уши.
Шиты белыми нитками швы.
Но действительны мертвые души
с непреложностью трупов живых.

Метафизическая ода

1

Знаю, ты – моя шальная мысль,
что металась, как слепая мышь,
в лабиринтах миллионы лет
и тебя – в действительности – нет,
только всё моё житьё-бытьё
меньше, чем отсутствие твоё.

2

Не хочу ни тела, ни души! –
зачеркни меня, перепиши,
ведь естественнее естество
не из праха, а из ничего:
задыхаясь в лабиринте, мышь
вырывается из тела – в мысль.

3

Самосовершенствование? –
бабочки на ржавом острие:
в мёртвой зоне квазибытия
с каждым днём я дальше от себя
и тебя... Усердие и труд
всё и в самом деле перетрут.

4

Посмотри: ни хлеба, ни вина
у меня – нет, есть одна вина
(та, которую не искуплю!)
праха, устремлённого к нулю,
вкручивающегося, как винт,
в твой сырой и тёмный лабиринт.

☞

Нет, не засунули в мешок
и не зашили рот,
но (в переводе) ВПРЕДЬ – МОЛЧОК,
а трупы уберёт
велеречивый Фортинбрас,
когда, как жернова
с откоса, загремят а bas
слова, слова, слова,

когда последний шанец (шанс!)
весь в оспинах каверн,
падёт, и справа Гильденкранц,
а слева Розенстерн
войдут, и Дания навек
исчезнет вообще...
КАКОЕ ЧУДО – ЧЕЛОВЕК,
точней, чу-до-ви-ще!..

Кроме шума в ушах,
 кроме вспышек в глазах –
 ничего: на часах –
 отвращенье и страх.
 Если это конец
 света, как предсказал
 нам нотрдамский мудрец,
 то пора на вокзал,
 чтобы жёлтый экспресс
 нас унёс без следа,
 безвозвратно и без
 проволочек *туда!* –
 в сон заморских синиц
 и разбитых сердец,
 где сошлись без границ
 тот и этот конец
 в круг, ошейник о двух
 сыромятных концах...

Сменят зренье и слух
 отвращенье и страх.

Бубнил бы в потолок,
 в глухой паучий мрак,
 и никаких бумаг! –
 писать, старик, порок,
 когда твой адресат
 почти на небесах...
 А ежели писах,
 то как слепой собрат:
 водою на воде
 без смысла и следа.
 Нигде и никогда.
 Точней, сейчас и здесь.

Литературная ода

1

Всё валится из рук.
С ног валишься ты сам.
Неравномерный стук,
хронический тамтам
грохочет: *ту-ру-рум*,
сигналя: дело – швах...
Неравномерный шум –
сухой песок! – в ушах
поспешно глушит всё
движенья и слова.
Как белка в колесе,
кружится голова.

2

Пересекая сквер,
не вспомнишь впопыхах,
где ты живёшь: в Москве?..
в Сарапуле?.. И страх
прёт уховёрткой вверх,
выскивая лаз.
И рвётся фейерверк
Из воспаленных глаз.
Исписанный листок
горит перед тобой.
И сыпется песок
под барабанный бой.

3

Глухой тяжелый гул
над Щёлковским шоссе
трясет хрущобу. Стул
приплясывает. Все
предметы дребезжат.
Разбитую кровать
бьёт дрожь. Часы спешат
от ужаса. Встать
не хочется. Заснуть
никак нельзя. Таков
обыкновенный путь
лирических стихов.

Брось, не маши в сердцах, как Шива,
руками! – нет здесь никого.
Высказывание фальшиво,
когда так узок звуковой
диапазон, где ближний дальше
всех, где волна так коротка,
что в немоте не меньше фальши,
чем в выкрике, где с молотка
пойдут и серебро, и золото,
и патина грошовых слёз
и где ответишь ты когда-то
за всё, что скрыл и произнёс.

С шести утра труба в ушах сзывает
народишко на тошнотворный труд.
Живаго в Заблудившемся трамвае
«Желание» въезжает в Голливуд.
Весь в розовом от бантов до карпеток
в сиянии пифагорейских сфер
хор ангелов, матрёшек и нимфеток
затягивает гимн СССР.
Сам Суперманн приветствует собрата
художественным свистом сквозь усы.

Опять задерживается зарплата,
и съедены остатки колбасы.
Скрипят пружины старого дивана.
Рябит в глазах. В ушах шумит, звенит.
Бесшумно из погасшего экрана
вплывает чудо-юдо-рыба-кит.
Зажмуриться («На даче спят два сына,
на даче спят три сына...» и т.п.)
и, белого напившись керосина,
свернуться червяком на канапе.

Скунс – игрек, икс – хорёк.
 Дежурю или сплю?
 Любой – посмертный? – срок
 равняется нулю,
 пожизненный? – любой,
 и *вечно* (штамп!) *хранить*.

Иди, перед собой
 наматывая нить,
 по кругу: впереди –
 прошедшее давно.
 Plusguamperfect. Иди.
 Иного не дано.

В квадрате ABC
 Д больше нет мышат.
 И ты в одном лице
 расстроен и распят.

Як умру, то поховайте.
 Тарас Шевченко

Хватаясь за саблю
 и за пистолет
 во сне, не оставлю
существенный след
 нигде: ни на сайте,
 ни в доме – отцом...
 Умру – закопайте.
 И дело с концом.
 Я выдохся. То есть
 не выдался в масть.
 Но высшая доблесть –
 без вести пропасть.

Ждали: поднесут его на блюде,
Как заокеанский ананас...

Будущее – то, чего не будет,
то есть настоящее без нас.
И не жалко времени. Его-то
не убудет: было – будет – есть,
будто труп, пропитанный тавотом,
мазью-шмазью, чем ещё? – бог весть!..

Поделом и – как ещё? – по вере,
ну по крайней мере – на погост.

Только мы сгораем в атмосфере
(это непрерывный холокост),
задыхаясь, чада всесожженья,
дети катакомб и гекатомб..
Прав мудрец брадатый: нет движенья.
Где-то там, внутри, заглушка, тромб...
Трубы апокалипсиса смяты.
Отменён шопен.

Это труп клочком вонючей ваты
заглушает рёв морских сирен.

Жизнь при всей своей дороговизне
всё ж бесценна. И вопрос таков:
стоит ли существовать без жизни,
как жевать, положим, без зубов?

Но рассматривая эти строки,
даже не догадываюсь я,
как отбыть пожизненные сроки
в злачной одиночке бытия,
в бестолковой толкотне, в общаге,
где опустошается общак...

Так, примерно, это на бумаге
выглядит. Наверно, так. Никак.

После вылазок, поутру,
возвращаюсь назад, в нору.
Мне уже ничего не надо.
Вспоминаю впотьмах сестру.
Смерть – единственная награда.

Смерть – единственный орден за
жизнь. Безжалостны, стрекоза,
муравьи и, наверно, правы,
что не тонут в твоих слезах,
презирая твои забавы.

Эти песенки и стишки
хороши, если все мешки
в кладовой к холодам набиты
чёрте чем: корешки... вершки...
Пой – пляши, раз детишки сыты!

Чаще всё-таки мураши
надрываются за гроши
день за днём и зимой и летом.
И тогда уж, как ни пляши,
не прельстишь ты их пируэтом.

Что ты делаешь среди всех
тех, которым не до утех,
у которых – без исключений –
завоевывает успех
технология развлечений,
где смертельные номера
принимаются на ура:
маски жизни ли, пляски смерти...

Где меня до утра, сестра,
потешаясь, носили черти.

Кто я? где я?.. Не амнезия,
не контузия, не склероз.
Вроде, знаю: Москва, Россия,
грязь, хрущобы среди берёз,
застарелый дух общепита,
общезития – наша гать...

Говорю же: «...ничто не забыто!»
Просто – нечего вспоминать.
Неподвижная панорама
принуждает возвращаться взгляд:
то как будто Одесса-мама,
то, должно быть, Санкт-Ленинград.
Из варяг – перекастом! – в греки,
на имперские сквозняки...

Опустите быстрее веки
Вию-Киеву, козаки,
чтоб ясачному Семиречью
перемолвиться с немчурой...

То, что раньше казалось речью,
оказалось вдруг чур-чурой.
И в таком заводном кошмаре –
взад-вперёд: дом – работа – дом –
в то, что этот хмырь в Нарьян-Маре –
Шурик, веришь уже с трудом.

С.Л.

Что ни пиши – пиши пропало.
Пишу: пропало... Ерунда! –
здесь ничего и не бывало
на самом деле. Никогда.
Ото всего – одни названья.
Я сам, семья, работа, дом –
названия без оснований,
буквальный буквенный фантом.
Нет, нет и не было Самары,
Одессы, Питера, Кремля...

Описки. Ляпсусы. Кошмары.

И мыльным пузырём Земля,
переливаясь, на мгновение
притянет одурелый взгляд,
как встрявшее в стихотворенье
словечко цирк... или лейбград.

Мы только тем и знамениты,
 что нас не знает никого
 и мы никто не знаем – квиты!
 Где подконвойный?.. где конвой?..

Мы только тем и знамениты,
 что позже смертью всех живём
 и раньше жизнью всех забиты
 ещё трупём, уже живьём.

Мы только тем и знамениты,
 что мама мыла раму, Ма-
 ша ела кашу – эрудиты
 от небольшого же ума.

Мы только тем и знамениты...

Л. Аранзону

Несчастный случай на охоте,
 в постели или на войне...
 Но то, что вы ещё живёте,
 вдвойне случайнее... Втройне
 Несчастнее – вы, на поминках
 скорбящие с набитым ртом
 о всех осечках, всех заминках
 и всех невыпалах – гуртом.
 И так ожесточённо живы,
 жуя кружочки колбасы,
 вы, шестирукие, как шивы,
 и трёхголовые, как псы.

Из-за сильного шума в ушах
где ты – напрочь забудешь – и кто ты,
чуть ли не на карачках впотьмах
возвращаясь с работы.

За извечным «сейчас же домой!»
(где мой дом и – как там? – где рассудок
мой?) не даймон с доэллинской тьмой,
а недавний ублюдок,
кто вприпрыжку, бегом, впопыхах
промелькнул в зеркалах, в амальгаме
не за совесть, но и не за страх
посылаемый к маме.

Как-нибудь ведь да добреду,
дотяну свою колею,
хоть оципан и хром пегасик,
так чего ж я в одну дуду
дую – жалуясь, слёзы лью
горько, как заповедал классик?

И не скажешь, что жил один,
как какой-нибудь там король:
кто-то всё понукал и тыкал
мордой в грязь, мол, давай, кретин,
перекатная рвань да голь,
бедолага и горемыка!

А чего же ты, мол, хотел?
Ну не знаю... того-сего...
За ненужностью хотелка
атрофировалась, пострел
отстрелялся и – ничего!
У одра только смерть-сиделка

бодрствует до утра со мной,
вяжет-шьёт-распускает-ждёт,
как костлявая Пенелопа...
Преисподний осенний зной
леденит, расплавляет, жжёт.
Ждёшь и сам, зная, что прохлопал

всё, всего. Ждёшь всего. Назло
самому себе, смех до слёз
вызвав у самого себя же.
Холодно. Чуть теплей. Тепло...
Горячо! Это не всерьёз.
Поиграй ещё, друже-враже!

25 сентября 2001



Ко дню рожденья белый порошок
в конверте, мол, привет, новорожденный
покойничек! Перформанс. И стишок
впридачу – пряткий, но непринужденный:
приём
остраненья
путем устраниенья.

Убийца, оказалось, эрудит.

Как террориста и постмодерниста
Разъединить? Ведь это – монолит.
Стрелять в прохожих, как известно, чисто
художественный акт...

Я видел, как
в Некрасова нацелилась Литвак
и выстрелила. Кажется, убила.
Потом себе же голову снесла
в пустом фойе. Но вот из-за весла
выглядывает... Да, искусство – сила!

Раз уж нам вдвоём
нет житья в дому,
пусть мне срубят дом
добрый – одному.
и сыра земля,
обмусолив сруб,
слабо хлопнет – мля! –
шестернёю губ.

Хороша изба –
домовина – дом,
и проста судьба
трупа: всё – путём
зёр-ныш-ка – в земле,
сол-ныш-ка – над ней...

Не жалею желе
через девять дней.

При честных гостях
стань ещё добрей:
не кости костяк
через сорок дней,
ведь земля – сыра,
а коса – остра,
а стерня – стара...
Но развеет страх –
в небесах – сестра.

Ни биографии, ни био:
все исчезает, как у Кио.

Кто выдвигал и задвигал
двойное днище?
Меня засунули в подвал
через горище.

Да нет, стихи, пожалуйста, не трожь,
но жизнь уж точно ты прожил бездарно.
Уже не мысль, любое слово – ложь.
И жизнь – не жизнь, так в ней темно, угарно
и сыро...

Смысл, болезнетворный смысл –
на всём, грозя тотальным зараженьем,
и ты уж, слышишь, больше не срамись,
лимерики читая с выраженьем.

Невыразима эта пустота.

Где вышеназванный жил и работал?..
Подло,
нахрапом выбив тысячу из ста,
что он ещё затеет, сучий потрох?

Кто свалил, кто свалился, кто влез в Союз,
в церковь, в партию, в пост-шоу-бизнес-йогу,
кто запил, кто забил, кто забыл про муз,
кто забился зимой, как медведь, в берлогу,
кто лоснится валетом, кто ловит блох,
кто сажает тарелки на Лобном месте,
кто ещё хоть куда, кто совсем уже плох
и о ком уже нет никаких известий,
сотню раз повторяясь, друзья, всем я
говорю: пусть я вас, может быть, не стою,
все же вы лишь – единственная семья,
где я тихо юродствую – сиротою.

слепоглухонемая мышь
шевелится в развалах сна
что ты видишь? что говоришь?
что ты слышишь мышь? и она
замерев (захватило дух)
отзывается сквозь развал
вижу зрение слышу слух
говорю таковы слова

ерунду ты городишь мышь
говорят ей в сердцах друзья
видишь зрение? – нет шалишь
слышишь слух? – и того нельзя
ультра – может быть инфраписк
разрывает шар головы
мышь возносится горсткой искр,
и слова её таковы

заканчивается срок
пожизненный. с бодуна
заглядывает в глазок
охранник ли ангелок
хранитель. иди ты на

не молот и серп – топор
на герб и башкой в кювет.
вот выведут в коридор
и после пинка в упор
увидишь тот самый свет

который описан от
и до. в виртуальный рай
раззявя беззубый рот
восторженный идиот
побалуйся поиграй.

нет? – на топчане кукуй
зачив (гол как сокол!)
на веках – по пятаку
и под языком – обол

ни на земле ни под землей
 ни на небе друзья
 нам не хватает места: стой!
 туда (сюда) нельзя...

демократичен только ад
 и к вящему стыду
 там привечают всех подряд:
 эй как тебя? – иду!

вот умер имярек.
 почувствовав укол
 мы скажем что навек
 ушёл от нас (ушёл?)
 тот самый имярек.

вот слеплен чебурек
 и слопан под «Кристалл».
 мы скажем что навек
 пропал для нас (пропал?)
 тот самый чебурек.

промасленный листок
 бумаги от него
 остался. но – бросок!..
 и всё. нет ничего.

один-другой стишок
 удался мертвецу.
 но – сядет на горшок
 внук. вытрет зад-ни-цу...

вот умер имярек.
 вот слопан чебурек.
 почувствуй разницу.

2 октября 2003

Четыре мига

*Ивану Ахметьеву
на выход его книги «Девять лет»*

1

незнаменитыйнекрасив

2

кушаю орально
какаю анально
маюсь машинально
(«Как это банально!»)

3

пруд
уток
пруд
пруды

4

впитываю в себя
всё
и
становлюсь
ничем

☞

Борису Кочейшвили

1

эх боря
выпьем с горя
эту гадость:
то-то радость!

2

помереть мне на этом самом
месте если я не хочу
помереть вот на этом самом
месте если. я не шучу:
помереть мне. на этом самом

3

мы живём без алкоголя
день неделю месяц год.
уж такая наша доля:
вообще без алкоголя
жить. такой уж мы народ

4

радуйся
что ты ещё можешь
радоваться:
ведь больше
для радости
нет причин

Михаилу Нилину

некто сыт
 сериалами ли
 стихами
 на экран
 спроецирована страница
 и не хочется
 шевелить мозгами
 вообще не хочется
 шевелиться

В метро

Триптих

Леониду Виноградову

1

не пей в общественных местах
 и не ебись как ни проси я
 не то тебя прищучит стра-
 шное общество РОССИЯ

2

сползая с лестницы подземки
 не заливай что все туземки
 потенциальные шахидки:
 есть и обычные бандитки

3

я никогда не пью в метро
 американское сидро
 а пью кичась поллитра
 очаковского сидра

Маленький складень

1

полистать Чорана
послушать «Зелёные рукава»
погулять по бульвару с внуком
и выпить стаканчик вина –
что ещё старику надо?

2

послать всё к чёрту
выпить бутылку водки
и окоченеть
на бульварной скамейке –
что ещё старику надо?

☞

Виктору Ковалю

некто трудно дышит носом
плотно закрывая рот.
прокачать бы купоросом
носоглотку, дышит носом.
не даётся сучий пот-
рох, хроническим катаром
всех достав страдает сам.
натереть бы скипидаром
чтобы обдавая паром
паровозом там и сям
несся издавая хрипы
как железный зверь в лесу...

напоить бы цветом липы
на спирту чтоб все полипы
растворились бы в носу.
а ещё вернее – стопку
царской водки натошак
и в пылающую топку:
пусть прогреется мудака!

Эдуарду Лимонову

пошейте Эдуард штаны. мне плохо.
мы ходим взад-вперед как шатуны.
у Вас была великая эпоха
а у меня – протёртые штаны.
пошейте мне штаны. ну что Вам стоит?
Москва Одесса Харьков Ленинград
стоят. а мы сидим. штаны – простое.
потом мы их обмоем Эдуард!

уже забронзовел как танк Иосиф.
нам с Вами позолота не к лицу.
будь я смелее я бы тоже бросил
в кого-нибудь по тухлому яйцу.
но я труслив. дела Лимонов плохи.
в апреле вместо тезисов – дожди.
дымит Багдад. отпрыгался Курехин.
вы из кутузки лезете в вожди.

оскома ломит челюсти. подросток
Савенко поседел заматерел...
не мне судить. не мне судить. мне просто
нехорошо, бесштаный я б хотел
припомнить с Вами времечко застоя
когда прочёл мне Кока как-то раз
как писала – не помню... Рая? – Зоя
заглядывая (sic!) в свой унитаз.

ты царь. живи один. и всё такое.
подите прочь! – и прочее. прочтите
Эдуард стишок и всё былое
в отжившем сердце оживёт. почти.

почти что оживёт... моё почтение
Лимонов. одинаковым был старт.
но я гляжу на наше поколение –
грущу и удивляюсь Эдуард.

мы оба занимались коммунизмом.
Вы вот национал(sic!)-большевик.
уж лучше заниматься онанизмом.
но ублажать себя я не привык.
я на себя Лимонов не люблюсь.
заглянешь брезась в зеркало: ну-ну!
а впрочем я бы ублажил любую.
но боги подложили мне жену.

И вот – живём. горласта Ваша муза.
моя скромней. и голосочек тих.
но памяти Советского Союза
я может быть и посвятил бы стих
когда б не эти эхи ахи охи
КПСС СП СА Главлит
где сильно подзаряженный Курехин
куражась синим пламенем горит.

когда свобода примет вас у входа
вы гражданин другой такой страны
на радостях пришлите для урода
собственноручно шитые штаны.

12 апреля 2003

Воспоминание о Бессарабии

Кате Капович

бродский¹ друкер² каплан ожиганов
фрадис хорват капович панэ
бессарабский парнас хулиганов
и поэтов поющих по не-
подцензурным законам где мелос
как бредущий в осиннике лось
хорошо на Рышкановке пелось
на Ботанике славно пилось

жили как у подножья вулкана
только задним умом и крепки
и панэ наподобие Пана
чашку лбом разбивал в черепки
вот сидят все на Малой Малине
вот уходят Долиною Роз
веря: встретятся завтра же и не...
и не зная ещё: не пришлось

¹ Александр Бродский

² Борис Викторов

кто в нью-йорке кто в кельне кто в риме
кто в москве кто в каком-то одном...
кто в небесном Иерусалиме
кто в иерусалиме земном
рождество на вокзале кабина
диск крутя – дождь-жар-дрожь
дождь-жар-дрожь –
где отечество а где чужбина
с бодуна ни за что не поймешь

дождь стук-звук привокзальных стаканов
и ступают опять на панель
бродский друкер каплан ожиганов
фрадис хорват капович панэ
и в бреду ли в хмельном ли угаре
возносясь над жестяным кустом
исчезают... а Штефан чел Маре³
осеняет их – снизу – крестом.

³ Стефан Великий (памятник)

Содержание

Александр Ожиганов –
поэт неволей божьей. *Сергей Лейбград* 5

I

Слова – отдельно, где-то в словаре	9
Очнуться, выйти на зачумленном кольце	10
Пустыня или сад? В предутреннем тумане	11
Где ты была? – у чёрта на рогах?..	12
Не расширяй словарь скорей избавься	13
Прямая речь – кривое зеркало	14
Кружная, косная, уже ничья, ничто	15
Разговорная речь: здоров!..	16
Мелькает катится скользит белесый ком	17
То за эфес музейной шпаги	18
Впечатанный в молчанье, как в почтовый	19
Событие и есть событие	20
Доброволен ли крест Христа	21
Не мне, нетопырю и недотёпе	22
Коснеть, скрываться, костенеть	23
Нет жалости во мне к себе несколько	24
Больше нет ни добра, ни зла	25
Из детства перескакивая в смерть	26

II

Утро в полях	27
Как не хотелось жить, как не жилось	30
Поэт – помещик, кирасир – еврей	31
Кто ты такой? Глухой любитель слова	32
Мы смотрим во тьму	33
Ода	34
Рассохлась старая каруца	36
Есть действительность. И непреложность	37
Метафизическая ода	38
Нет, не засунули в мешок	39
Кроме шума в ушах	40
Бубнил бы в потолок	41

Литературная ода	42
Брось, не маши в сердцах, как Шива	44
С шести утра труба в ушах сзывает	45
Скунс – игрек, икс – хорёк	46
Хватаюсь за саблю	47
Ждали: поднесут его на блюде	48
Жизнь при всей своей дороговизне	49
После вылазок, поутру	50
Кто я? где я?.. Не амнезия	52
Что ни пиши – пиши пропало	53
Мы только тем и знамениты	54
Несчастный случай на охоте	55
Из-за сильного шума в ушах	56
Как-нибудь ведь добреду	57
Ко дню рожденья белый порошок	59
Раз уж нам вдвоём	60
Ни биографии, ни био	61
Да нет, стихи, пожалуйста, не трожь	62
Кто свалил, кто свалился, кто влез в Союз	63
слепоглухонемая мышь	64
заканчивается срок	65
ни на земле ни под землей	66
вот умер имярек	67
Четыре мига	68
эх боря	69
некто сыт	70
В метро	71
Маленький складень	72
некто трудно дышит носом	73
Эдуарду Лимонову	74
Воспоминания о Бессарабии	76

УДК 821.161.1
БК 84(2Рос=Рус)6-5
О-45

ОЖИГАНОВ Александр

Утро в полях. Девятая книга. –
Самара, 2012 – 80 с.

Издание подготовлено

Александр Ожиганов (автор, составитель)
Виталий Лехциер (куратор серии)
Юлия Рогатина (дизайн, вёрстка)

ISBN-978-5-91940-412-5

Подписано в печать 17.09.2012
Формат 90x64 1/16 Объём 2,5 печ. л.
Гарнитура Minion. Бумага мелованная
Печать офсетная. Тираж 300 экз.
Заказ 2847
Отпечатано в типографии ООО «Типография «ДСМ»
Самара, ул. Верхне-Карьерная, за, т. +7 (846) 279 21 77